

ГЛАВА I. Анархизм и абсолютный индивидуализм.

Петру Алексѣвичу Кропоткину съ глубокимъ уваженіемъ авторъ.

Анархизм есть апофеоз личного начала. Анархизм говорит о конечном освобождении личности. Анархизм отрицает все формы власти, все формы принуждения, все формы внешнего обязывания личности. Анархизм не знает долга, ответственности, коллективной дисциплины.

Все эти и подобные им формулы достаточно ярко говорят об индивидуалистическом характере анархизма, о примате начала личного перед началом социальным и, тем не менее, было-бы огромным заблуждением полагать, что анархизм есть абсолютный индивидуализм, что анархизм есть принесение общественности в жертву личному началу.

Абсолютный индивидуализм — есть вера, философское умозрение, личное настроение, исповедующее культ неограниченного господства конкретного, эмпирического «я».

«Я» — существую только для себя и все существует только для «меня». Никто не может управлять «мною», «я» могу пользоваться и управлять всем.

«Я» — перл мироздания, драгоценный сосуд единственных в своем роде устремлений и их необходимо оберечь от грубых поползновений соседа и общественности. «Я» — целый, в себе замкнутый океан неповторимых стремлений и возможностей, никому ничем не обязанных, ни от кого ничем не зависящих. Все, что пытается обусловить мое «я», посягает на «мою» свободу, мешает «моему» полному господству над вещами и людьми. Ограничение себя «долгом» или «убеждением» есть уже рабство.

Красноречивейшим образцом подобного индивидуализма является философия Штирнера.

По справедливому замечанию Штаммлера, его книга — «Единственный и его достояние» (1845 г.) — представляет собой самую смелую попытку, которая когда-либо была предпринята — сбросить с себя всякий авторитет.

Для «Единственного» Штирнера нет долга, нет морального закона. Признание какой-либо истины для него невыносимо — оно уже налагает оковы. «До тех пор, пока ты веришь в истину — говорит Штирнер — ты не веришь в себя! Ты — раб, ты — религиозный человек. Но

ты один — истина... Ты — больше истины, она перед тобой — ничто».

Идея личного блага есть центральная идея, проникающая философию Штирнера.

«Я» — эмпирически — конкретная личность, единственная и неповторимая — властелин, пред которым все должно склониться. «..Нет ничего реального вне личности с ее потребностями, стремлениями и волей». Вне моего «я» и за моим «я» нет ничего, что бы могло ограничить мою волю и подчинить мои желания.

«Не все-ли мне равно — утверждает Штирнер, — как я поступаю? Человечно-ли, либерально, гуманно или, наоборот?... Только бы это служило моим целям, только бы это меня удовлетворяло, — а там называйте это, как хотите: мне решительно все равно... Я не делаю ничего «ради человека», но все, что я делаю, я делаю «ради себя самого»... Я поглощаю мир, чтобы утолить голод моего эгоизма. Ты для меня — не более, чем пища, так-же, как я для тебя...»

Что после этих утверждений для «Единственного» — право, государство?

Они — мираж пред властью моего «я»! Права, как права, стоящего вне меня или надо мной, нет. Мое право — въ моей власти. «... Я имею право на все, что могу осилить. Я имею право свергнуть Зевса, Иегову, Бога и т. д., если в силах это сделать... Я есмь, как и Бог, отрицание всего другого, ибо я есмь — мое все, я есмь — единственный!»

Но огромная внешняя мощь Штирнеровских утверждений, тем решительнее свидетельствует о их внутреннем бессилии. Во имя чего слагает Штирнер свое безбрежное отрицание? Какие побуждения жить могут быть у «Единственного» Штирнера? Те, как будто, социальные инстинкты, демократические элементы, которые проскальзывают в проектируемых им «союзах эгоистов», растворяются в общей его концепции, отказывающейся дать какое-либо реальное, содержание его неограниченному индивидуализму. «Единственный», это — форма без содержания, это вечная жажда свободы — «от чего», но не «для чего». Это — самодовлеющее бесцельное отрицание, отрицание не только мира, не только любого утверждения во имя последующих отрицаний — это было бы только актом творческого вдохновения — но отрицание своей «святыни», как «узды и оковы», и в конечном счете, отрицание самого себя, своего «я», поскольку может идти речь о реальном содержании его, а не о бесплотной фикции, выполняющей свое единственное назначение «разлагать, уничтожать, потреблять» мир.

Бесцельное и безотчетное потребление мира, людей, жизни — и есть жизнь «наслаждающегося» ею «я».

И хотя Штирнер не только утверждает для других, но пытается заверить и себя, что он, в противоположность «религиозному миру», не приходит «к себе» путем исканий, а исходит «от себя», но — за утверждениями его для каждого живого человеческого сознания стоит страшная пустота, холод могилы, игра бесплотных призраков. И когда Штирнер говорит о своем наслаждении жизнью, он находит для него определение, убийственное своим внутренним трагизмом и скрытым за ним сарказмом: «Я не тоскую более по жизни, я

«проматываю» ее» («Ich bange nicht mehr ums Leben, sondern «verthue» es»).

Эта формула — пригодна или богам или человеческим отрепьям. Человеку, ищущему свободы, в ней места нет.

И нет более трагического выражения нигилизма, как философии и как настроения, чем штирнерианская «бесцельная» свобода[1].

Таким же непримиримым отношением к современному «религиозному» человеку и беспощадным отрицанием всего «человеческого» напитана и другая система абсолютного индивидуализма — система Ницше[2].

«Человек, это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное, страшное другим животным больше хитростью и благоразумием, чем силой, изобрел чистую совесть для того, чтобы наслаждаться своей душой, как чем-то простым; и вся мораль есть не что иное, как смелая и продолжительная фальсификация, благодаря которой вообще возможно наслаждаться созерцанием души»... («lenseits von Gut und Böse» § 291).

Истинным и единственным критерием нравственности — является сама жизнь, жизнь, как стихийный биологический процесс с торжеством разрушительных инстинктов, беспощадным пожиранием слабых сильными, с категорическим отрицанием общественности.

Все стадное, социальное — продукт слабости. «Больные, болезненные инстинктивно стремятся к стадной организации... Аскетический жрец угадывает этот инстинкт и стремится удовлетворить ему. Всюду, где стадность: требовал ее инстинкт слабости, организовала ее мудрость жреца». («Генезис морали» § 18).

И в противовес рабам, «морали-рабов» — Ницше творит свое учение о «сверхчеловеке», в котором кипит самый верующий пафос.

Из созданных доселе концепций сверхчеловека следует отметить две, полярные одна другой: Ренана и Ницше.

Первый хотел создать сверхчеловека — «intelligence supérieure» истреблением в человеке зверя, выявлением в нем до апофеоза всех его чисто «человеческих» свойств. Идеал Ренана — чисто рационалистический: убить инстинкты для торжества рассудка. Ренановский сверхчеловек — гипертрофия мозга, гипертрофия рассудочного начала, апофеоза учености.

Сверхчеловек Ницше — его противоположность. Ницше стремится убить в сверхчеловеке все «человеческое» — упразднить в нем проблемы религии, морали, общественности, выявить «зверя», побить рассудок инстинктами, вернуть человеку здоровье и силы, потерянные в рационалистических туманах. «Мы утомлены человеком», говорит он. (Там-же § 12).

И он поет гимны — силе, насилию, власти.

«Властвующий — высший тип!» («Посмертные афоризмы» § 651). Он приветствует «хищное животное пышной светлорусой расы» с наслаждением блуждающее за добычей и победой» («Генезис морали» § 11), «самодержавную личность, тождественную самой себе,... независимую сверх-нравственную личность.., свободного человека, который действительно может обещать, господина свободной воли, повелителя»... (Там-же. Отд. II, §2). «Могущественными, беззаботными, насмешливыми, способными к насилию — таковыми хочет нас мудрость: она — женщина, и всегда любит лишь воина!» («Так говорил Заратустра»). Ницше не боится рабства. «Эвдемонистически-социальные идеалы ведут человечество назад. Впрочем, они... изобретают идеального раба будущего, низшую касту. В ней не должно быть недостатка». (Приложение к «Заратустре» § 671).

Но стоит сопоставить гордые формулы самоутверждения с их подлинно реальным содержанием и мы — перед зияющим противоречием.

Вместо сильного, этически безразличного «белокурого зверя» мы видим тоскливо мечущееся обреченное человеческое существо, готовое на жертвы, мечтающее о смерти — победе, как желанном конце.

— «Велико то в человеке, что он — мост, а не цель... Что можно любить в нем, это то, что он — переход и падение»...

— «...Выше, нежели любовь к ближнему, стоит любовь к дальнему и будущему: еще выше, чем любовь к людям, ценю я любовь к вещам и призракам», — вдохновенно учил Заратустра.

В этих словах — основы революционного мирозерцания. Любовь к дальнему и будущему, любовь к «вещам» — высшая мораль творца, перерастающая желания сегодняшних людей, отвергающая уступки времени и исторической обстановке.

— «Не человеколюбие, восклицает Ницше, а бессилие человеколюбия препятствует миролюбцам нашего времени сжечь нас». («По ту сторону добра и зла» § 104).

Так спасение духа становится выше спасения плоти. Нет жертв достаточных, которых нельзя было бы принести за него, и нет для спасения духа бесплодных жертв. Они не бесплодны, если гибнут во имя своего идеала. Бесплодные сейчас — они не бесплодны для будущего. На них строится будущее счастье, будущие моральные ценности. Эти жертвы — жертвы любви к дальнему, любви к своему идеалу, и в их трагической гибели — залог грядущего высшего освобождения человеческого духа.

— «Я люблю тех — говорил Заратустра, кто не умеет жить, их гибель — переход к высшему». «Я люблю того, у кого свободен дух и свободно сердце; его голова — лишь содержимое его сердца, а сердце влечет его к гибели». «Я люблю того, кто хочет созидать дальше себя и так погибает». «Своей победоносной смертью умирает созидатель, окруженный надеющимися и благословляющими... Так надо учиться умирать... Так умирать — лучше всего, второе же — умереть в борьбе и расточить великую душу...» («Так говорил Заратустра»).

В этом трагическом стремлении к гибели заключен высший возможный для человека нравственный подвиг; это — не Штирнеровское «проматывание» жизни! Но как согласить это вдохновенное ученье с стремлением выместить из человека все «человеческое»!

Не прав-ли Фуллье, что «пламенное прославление страдания, как бы прекрасно оно ни было в смысле морального вдохновения, мало понятно в доктрине, не признающей никакого реального добра, никакой истинной цели, по отношению к которым страдание могло бы служить средством».

И другое неизбежное противоречие — между отвращением к стадности и жаждой быть учителем и пророком раздирает учение философа.

Пусть говорит он о «пустыне», пусть агитатора называет он «пустой головой», «глиняным горшком», пусть заявляет он, что «философ познается бегством от трех блестящих и громких вещей: славы, царей и женщин...», но разве не зовет к себе всех «пресыщенный мудростью» Заратустра, чтобы оделить своими дарами?

И подлинный ужас встает, когда проповедник сверх-человечества признается в интимнейших своих чувствах, которые не суждено слушать «толпе»: «Мысль о самоубийстве — сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи». («По ту сторону добра и зла» § 157).

Это — гибель всего мировоззрения.

Начать с гордых утверждений полного самоудовлетворения в одиночестве и кончить школой, любовным подвигом трагической гибелью и трусливым бегством из жизни. Разве это не целая последовательная гамма разочарований...

Штирнерианство — бесплодное блуждание в дебрях опустошенной личности, ницшеанство — скорбный клик героического пессимизма.

Последовательный индивидуализм неизбежно приводит к солипсизму, то-есть к признанию конкретным «я» реальности только своего существования, к утверждению всего существующего только, как своего личного опыта. «Я» — Абсолют, Творец всего; остальной мир — фантом, продукт моего воображения.

Солипсизм есть категорическое упразднение всего социального.

Анархизм и абсолютный индивидуализм могут быть названы антиподами.

Анархизм есть также культ человека, культ личного начала, но анархизм не делает из эмпирического «я» центра вселенной.

Анархизм обращается ко всем, к каждому человеку, к каждому «я». И, если не каждое «я» равно драгоценно для анархизма, ибо и анархизм не может не делать различий между подлинно свободным человеком и насильником, пытающимся строить свою свободу на порабощении другого, то каждое «я» — и малое и большое — должно быть для анархизма

предметом равного внимания, каждое «я» имеет равное право для выявления своей индивидуальности, каждое «я» должно быть обеспечено защитой от посягательств другого «я».

И если абсолютный индивидуализм стремится утвердить свободу только данного конкретного «я», анархизму дорога свобода всех «я», дорога свобода человека вообще. Абсолютный индивидуализм не только мирится с рабством других, но или относится к нему безразлично или даже ставит его в угол своего благополучия. Анархизм и рабство — непримиримы. Общество, построенное на привилегиях и ограничениях — несвободно. Там, где есть рабы, нет места свободным людям.

«Я истинно свободен — писал Бакунин — если все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины точно также свободны. Свобода других не только не является ограничением, отрицанием моей свободы, но есть, напротив, её необходимое условие и подтверждение. Я становлюсь истинно свободен только через свободу других... Напротив того рабство людей ставит границу моей свободе...» («Бог и Государство»).

Анархизм, поэтому, чужд солипсизму. Для него равно реальны все люди, для него, наоборот, ирреален тот эгоцентризм, то выделение и чудовищная гипертрофия личного «я», личного начала, которые порождает абсолютный индивидуализм.

Также различны они — анархизм и последовательный индивидуализм — и в области практической деятельности.

Абсолютный индивидуализм не знает методов социального действия. Он не имеет социально-политических программ, не собирает партий, не образует союзов.

Чистый индивидуализм, который во всем окружающем, не исключая людей и разнообразных форм человеческого общения, видит только средство удовлетворения своих эгоцентрических стремлений, относится с полным безразличием, к отдельным типам организованной общественности, к отдельным политическим формам.

Социально-политический прогресс для него не существует, ибо общественные симпатии его к тому или другому бытовому укладу обуславливаются не соображениями «общего блага», обеспечения справедливости, утверждения свободы и т. п., но исключительно личными вкусами. И в этом смысле античное государство с институтом рабства, феодализм и крепостничество, вольный город и цеховая регламентация, буржуазное правовое государство, социалистический строй, анархистическая община — для него совершенно равноценны.

Требуя неограниченной свободы для себя, он отдает свои симпатии Платоновскому «Государству мудрых», мандаринату, диктатуре, аморфному, ничем не связанному «союзу эгоистов». Его не смущают одиозные привилегии или моральные несовершенства излюбленного им строя. Насилие, хищничество, закабаление — все средства хороши для достижения главной цели: утверждения своего неограниченного господства, торжества своей воли. Слабому, темному, погибающему — противопоставляются «я», герой, великий человек, сверхчеловек. Целые расы могут послужить навозом для великих — писал

Стриндберг. Весь мир — говорит философ Эмерсон — должен стать питомником великих людей.

Анархизм есть не только социальная теория. Он также — социальная практика. Анархизм утверждает и ищет практические методы социального действия.

Несмотря на непримиримые противоречия между отдельными течениями анархистской мысли, есть своеобразная «программа — minimum», объединяющая все оттенки анархизма. И эти принципы обуславливают и его тактику.

В ряду этих принципов прежде всего — отрицание власти, принудительной санкции во всех её формах, а следовательно, всякой организации, построенной на началах — централизации и представительства. Отсюда отрицание права и государства со всеми его органами.

В области собственно политической — отрицание политических форм борьбы, демократии и парламентаризма.

В области экономической отрицание капитализма и всякого общественного режима, построенного на эксплуатации наемного труда.

Наконец, анархизм в новейших стадиях его развития приходит к убеждению, что революция вообще и анархическая в «частности не декретируется «верхами», революционным правительством и не срывается «сознательным инициативным меньшинством» или случайной кучкой «заговорщиков», но совершается «низами», являясь творческим выражением «бунта», идущего непосредственно из «масс». Но дух «созидающий, в отличие от духа «погромного», может найти себе выражение не в случайных и «бесцельных» взрывах толпы, но в свободной ассоциации, поставившей сознательно определенные цели в духе анархического мировоззрения. Отсюда анархизм понимает социальное творчество, как самостоятельность заинтересованного класса.

Классовая аполитическая организация является, поэтому, не только лучшей, но и единственно моральной и технически целесообразной формой анархического выступления. Акты «одиночек» и «кучек» могут в известных случаях иметь педагогическое значение и могут быть нравственно оправданы, но к ним сводить всю анархистическую тактику — значило-бы обречь ее на полное бесплодие.

Так анархизм из бунтарского настроения личности преобразуется постепенно в организованный революционаризм масс.

Теперь должно быть ясно коренное различие между абсолютным индивидуализмом и анархизмом.

Первый — есть настроение свободолюбивой личности, ни к чему ее не обязывающее и потому — по существу — безответственное. Второй — социальная деятельность, строящаяся на исповедывании определенных принципов и влекущая для каждого деятеля моральную ответственность.

Первый ведет к установлению власти, усилению гнета, второй несет в себе подлинно освобождающий смысл. Первый предполагает освобождение единиц за счет общественности, второй освобождает личность через свободную общественность[3].

Наконец, чистый индивидуализм, как на это неоднократно указывалось, антиномичен, т.-е. внутренне противоречив и неизбежно ведет к самоотрицанию.

У сильной индивидуальности безграничная свобода, бесспорно, является стимулом к чрезвычайному развитию личной мощи за счет слабых индивидуальностей. Это неизбежно должно повести к своеобразному «аристократическому» отбору, который для обеспечения своей свободы и безопасности поработщает все окружающее. Но, с одной стороны, устранение борьбы и мирное пользование неограниченной властью ведет неизбежно к вырождению избранных и преобразует в последующих поколениях силу в слабость, с другой, вызывает в поработченных дух протеста против ослабевшего властителя и зовет их к борьбе, неизбежно кончающейся поражением поработителя. Эту мысль прекрасно выразил Зиммель: «... Аристократы, выделившиеся из общего уровня, на некоторое время создают для себя особый высший уровень жизни. В новой обстановке они, однако постепенно утрачивают жизнеспособность, между тем как масса, пользуясь выгодами большого числа, ее сохраняет».

Так неограниченный индивидуализм, отрицающий свободную общественность, неизбежно приходит к вырождению и самоотрицанию.

Версия #13

Создано 13 марта 2025 12:08:21

Обновлено 8 апреля 2025 19:38:33